

МАКСИМ
ГОРЬКИЙ

**Жизнь
Клима Самгина**

Часть 4

УДК 82-311.6
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Г71

Горький, М.

Г71 Жизнь Клима Самгина. В 4 ч. Ч. 4. / М. Горький. – М. : Т8RUGRAM, 2017. – 370 с.

ISBN 978-5-521-78661-9 (ч. 4)

ISBN 978-5-521-05563-0

Максим Горький (1868–1936) – основоположник социалистического реализма, принадлежащий к числу писателей, определивших образ русской литературы XX века. В прозе, драматургии и мемуарах Горький мастерски отразил социальные типы, общественные отношения, историю, быт и культуру России первой трети XX века.

«Жизнь Клима Самгина» – роман-эпопея, самое известное и крупное, итоговое произведение Максима Горького, называемое им самим "Историей пустой жизни". Горький писал этот роман одиннадцать лет вплоть до своей смерти, как "нечто "прощальное", некий роман-хронику сорока лет русской жизни". Это роман о людях, которые, по словам автора, "выдумали себе жизнь", "выдумали себя", и роман о России и страшной трагедии, случившейся со страной.

УДК 82-311.6
ББК 83.3(2Рос=Рус)
BIC FC
BISAC FIC004000

ISBN 978-5-521-78661-9 (ч. 4)
ISBN 978-5-521-05563-0

© Т8RUGRAM, оформление, 2017

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Берлин встретил его неприветливо: сыпался хорошо знакомый по Петербургу мелкий, серый дождь, и бастовали носильщики вокзала. Пришлось самому тащить два тяжелых чемодана, шагать подземным коридором в толпе сердитых людей, подниматься с ними вверх по лестнице. Люди, в большинстве рослые, толстые, они ворчали и рычали, бесцеремонно задевая друг друга багажом и, кажется, не извиняясь. Впереди Самгина, мешая ему, шагали двое военной выправки, в костюмах охотников, в круглых шляпах, за ленты шляп воткнуты перышки какой-то птицы. Должно быть, пытаюсь рассмешить людей, обиженных носильщиками, мужчины с перышками несли на палке маленькую корзинку и притворялись, что изнемогают под тяжестью ноши. По смеялась только высокая, тощая дама, обвешанная с плеч до колен разнообразными пакетами, с чемоданом в одной руке, несессером в другой; смеялась она визгливо, напряженно, из любезности; ей было очень неудобно идти, ее толкали больше, чем других, и, прерывая смех свой, она тревожно кричала шутникам:

— Мой бог! Там стекло есть! О, Рихард, там ваза...

На площади, пред вокзалом, не было ни одного извозчика. По мокрым камням мостовой, сквозь частую сеть дождя, мрачно, молча шагали прилично одетые люди. Дождь был какой-то мягкий, он падал на камни совершенно бесшумно, но очень ясно был слышен однообразный плеск воды, стекавшей из водосточных труб, и сердитые шлепки шагов. Стояли плотные ряды тяжелых зданий, сырость придавала им почти однообразную окраску ржавого железа. Чувствуя, как в него сквозь платье и кожу просачивается холодное уныние, Самгин поставил чемоданы, снял шляпу, вытер потный лоб и напомнил себе:

«Безвыходных положений не бывает».

Из-за его спины явился седоусый, коренастый человек, в кожаной фуражке, в синей блузе до колен, с медной бляхой на груди и в огромных башмаках.

— Две марки до ближайшего отеля, — предложил ему Самгин.

— Нет, — сказал носильщик, не взглянув на него, и вздернул плечо так, как будто отталкивал.

«Пролетарская солидарность или — страх, что товарищи вздуют?» иронически подумал Самгин, а носильщик сбоку одним глазом заглянул в его лицо, движением подбородка указав на один из домов, громко сказал:

— Бальц пансион.

Забыв поблагодарить, Самгин поднял свои чемоданы, вступил в дождь и через час, взяв ванну, выпив кофе, сидел у окна маленькой комнатки, восстанавливая в памяти сцену своего знакомства с хозяйкой пансиона. Толстая, почти шарообразная, в темнорыжем платье и сером переднике, в очках на носу, стиснутом подушечками красных щек, она прежде всего спросила:

— Вы — не еврей, нет?

Она сама быстро и ловко приготовила ванну и подала кофе, объяснив, что должна была отказать в работе племяннице забастовщика. Затем, бесцеремонно рассматривая гостя сквозь стекла очков, спросила: что делается в России? Проверяя свое знание немецкого языка, Самгин отвечал кратко, но охотно и думал, что хорошо бы, переехав границу, закрыть за собою какую-то дверь так плотно, чтоб можно было хоть на краткое время не слышать утомительный шум отечества и даже забыть о нем. А хозяйка говорила звонко, решительно и как бы не для одного, а для многих:

— Место Бебеля не в рейхстаге, а в тюрьме, где он уже сидел. Хотя и утверждают, что он не еврей, но он тоже социалист.

Улыбаясь, Самгин спросил: разве она думает, что все евреи социалисты, и богатые тоже?

— О, да! — гневно вскричала она. — Читайте речи Евгения Рихтера. Социалисты — это люди, которые хотят ограбить и выгнать из Германии ее законных владельцев, но этого могут хотеть только евреи. Да, да — читайте Рихтера, это-здравый, немецкий ум!

И уже с клекотом в горле она продолжала, взмахивая локтями, точно курдца крыльями:

— Германия не допустит революции, она не возьмет примером себе вашу несчастную Россию. Германия сама пример для всей Европы. Наш кайзер гениален, как Фридрих Великий, он — император, какого давно ждала история. Мой муж Мориц Бальц всегда внушал мне:

«Лизбет, ты должна благодарить бога за то, что живешь при императоре, который поставит всю Европу на колени пред немцами...»

Она была так толста и мягка, что правая ягодица ее свешивалась со стула, точно пузырь, такими же пузырями вздувались бюст и живот. А когда она встала — пузыри исчезли, потому что слились в один большой, почти не нарушая совершенства его формы. На верху его вырос красненький

нарывчик с трещиной, из которой текли слова. Но за внешней ее неприглядностью Самгин открыл нечто значительное и, когда она выкатилась из комнаты, подумал:

«Русская баба этой профессии о таких вопросах не рассуждает...»

Дождь иссяк, улицу заполнила сероватая мгла, посвистывали паровозы, громыхало железо, сотрясая стекла окна, с четырехэтажного дома убрали клетки лесов однообразно коренастые рабочие в синих блузах, в смешных колпаках — вполне такие, какими изображает их «Симплициссимус». Самгин смотрел в окно, курил и, прислушиваясь к назойливому шороху мелких мыслей, настраивался лирически.

«Моя жизнь — монолог; а думаю я диалогом, всегда кому-то что-то доказываю. Как будто внутри меня живет кто-то чужой, враждебный, он следит за каждой мыслью моей, и я боюсь его. Существуют ли люди, умеющие думать без слов? Может быть, музыканты... Устал я. Чрезмерно развитая наблюдательность обременительна. Механически поглощаешь слишком много пошлого, бессмысленного».

Закрыв глаза, и во тьме явилось стройное, нагое, розоватое тело женщины.

«Если б я влюбился в нее, она вытеснила бы из меня все... Что — все? Она меня назвала неизлечимым умником, сказала, что такие, как я, болезнь мира. Это неверно. Неправда. Я — не книжник, не догматик, не моралист. Я знаю много, но не пытаюсь учить. Не выдумываю теории, которые всегда ограничивают свободный рост мысли и воображения».

Тут, как осенние мухи, на него налетели чужие, недавно прочитанные слова: «последняя, предельная свобода», «трагизм мнимого всеведения», «наивность знания, которое, как Нарцисс, любит себя» — память подсказывала все больше таких слов, и казалось, что они шуршат вне его, в комнате.

Достал из чемодана несколько книг, в предисловии к одной из них глаза поймали фразу: «Мы принимаем все религии, все мистические учения, только бы не быть в действительности».

«Если это не поза, это уже отчаяние», — подумал он.

В окно снова хлестал дождь, было слышно, как шумит ветер. Самгин начал читать поэму Миропольского.

Чтение художественной литературы было его насущной потребностью, равной привычке курить табак. Книги обогащали его лексикон, он умел ценить ловкость и звучность словосочетаний, любовался разнообразием словесных одежд одной и той же мысли у разных авторов, и особенно ему нравилось находить общее в людях, казалось бы, несоединимых. Читая кошацье мурлыканье Леонида Андреева, которое почти всегда переходило в тоскливый волчий вой, Самгин с удовольствием вспоминал басовитую воркотню Гончарова:

«Зачем дикое и грандиозное? Море, например. Оно наводит только грусть на человека, глядя на него, хочется плакать. Рев и бешеные раскаты валов не нежат слабого слуха, они все твердят свою, от начала мира, одну и ту же песнь мрачного и неразгаданного содержания».

Эти слова напоминали тревожный вопрос Тютчева: «О чем ты воешь, ветер ночной?» и его мольбу:

О, страшных песен сих не пой

Про древний хаос...

И снова вспоминался Гончаров: «Бессилен рев зверя пред этими воплями природы, ничтожен и голос человека, и сам человек так мал и слаб...»

Затем память услужливо подсказывала «Тьму» Байрона, «Озимандию» Шелли, стихи Эдгара По, Мюссе, Бодлера, «Пламенный круг» Сологуба и многое другое этого тона — все, что было когда-то прочитано и уцелело в памяти для того, чтоб изредка прозвучать.

Но слова о ничтожестве человека пред грозной силой природы, пред законом смерти не портили настроение Самгина, он знал, что эти слова меньше всего мешают жить их авторам, если авторы физически здоровы. Он знал, что Артур Шопенгауэр, прожив 72 года и доказав, что пессимизм есть основа религиозного настроения, умер в счастливом убеждении, что его не очень веселая философия о мире, как «призраке мозга», является «лучшим созданием XIX века».

Религиозные настроения и вопросы метафизического порядка никогда не волновали Самгина, к тому же он видел, как быстро религиозная мысль Достоевского и Льва Толстого потеряла свою остроту, снижаясь к блудному пустословию Мережковского, становилась бесстрастной в холодненьких словах полунигилиста Владимира Соловьева, разлагалась в хитроумии чувственника Василия Розанова и тонула, исчезала в туманах символистов.

Достоевского он читал понемногу, с некоторым усилием над собой и находил, что этот оригинальнейший художник унижает людей наиболее осведомленно, доказательно и мудро. Ему нравилась скорбная и покорная усмешка Чехова над пошлостью жизни. Чаще всего книги показывали ему людей жалкими, запутавшимися в мелочах жизни, в противоречиях ума и чувства, в пошленьких состязаниях самолюбий. В конце концов художественная литература являлась пред ним как собеседник неглупый, иногда — очень интересный, собеседник, с которым можно было спорить молча, молча смеяться над ним и не верить ему.

За окном по влажным стенам домов скользили желтоватые пятна солнца. Самгин швырнул на стол странную книжку, торопливо оделся, вышел на улицу и, шагая по панелям, как-то особенно жестким, вскоре отметил сходство Берлина с Петербургом, усмотрев его в обилии военных, затем нашел, что в Берлине офицера еще более напыщенны, чем в Петербурге,

и вспомнил, что это уже многократно отмечалось. Шел он торговыми улицами, как бы по дну глубокой канавы, два ряда тяжелых зданий двигались встречу ему, открытые двери магазинов дышали запахами кожи, масла, табака, мяса, пряностей, всего было много, и все было раздражающе однообразно. Вспомнились слова Лютова:

«Германия — прежде всего Пруссия. Апофеоз культуры неумеренных потребителей пива. В Париже, сопоставляя Нотр Дам и Тур Эйфель, понимаешь иронию истории, тоску Мопассана, отвращение Бодлера, изящные сарказмы Анатоля Франса. В Берлине ничего не надо понимать, все совершенно ясно сказано зданием рейхстага и Аллеей Победы. Столица Пруссии — город на песке, нечто вроде опухоли на боку Германии, камень в ее печени...»

Серые облака снова начали крошиться мелким дождем. Самгин взял извозчика и возвратился в отель. Вечером он скучал в театре, глядя, как играют пьесу Ведекинда, а на другой день с утра до вечера ходил и ездил по городу, осматривая его, затем посвятил день поездке в Потсдам. К знакомым, отрицательным оценкам Берлина он не мог ничего добавить от себя. Да, тяжелый город, скучный, и есть в нем — в зданиях и в людях — что-то угнетающе напряженное. Коренастые, крупные каменщики, плотники работают молча, угрюмо, машинально. У них такие же груди «колесом» и деревянные лица, как у военных. Очень много толстых. Самгин решил посмотреть музеи и уехать.

Вот он в музее живописи.

После тяжелой, жаркой сырости улиц было очень приятно ходить в прохладе пустынных зал. Живопись не очень интересовала Самгина. Он смотрел на посещение музеев и выставок как на обязанность культурного человека, обязанность, которая дает темы для бесед. Картины он обычно читал, как книги, и сам видел, что это обесцвечивает их.

Останавливаясь на секунды пред изображениями тела женщин, он думал о Марине:

«Она — красивее».

О Марине думалось почему-то неприязненно, может быть, было досадно, что в этом случае искусство не возвышается над действительностью. В пейзаже оно почти всегда выше натуры. Самгин предпочитал жанру спокойные, мягкие картинки доброжелательно и романтически подкрашенной природы. Не они ли это создают настроение незнакомой ему приятной печали? Присев на диван в большом зале, он закрыл утомленные глаза, соображая: чему можно уподобить сотни этих красочных напоминаний о прошлом? Память подсказала элегические стихи Тютчева:

...элизиум теней,

Безмолвных, светлых и прекрасных,

Ни замыслам години буйной сей,

Ни радости, ни горю не причастных...

Он встал, пошел дальше, взволнованно повторяя стихи, остановился перед темноватым квадратом, по которому в хаотическом беспорядке разбросаны были странные фигуры фантастически смешанных форм: человеческое соединялось с птичьим и звериным, треугольник, с лицом, вписанным в него, шел на двух ногах. Произвол художника разорвал, разъединил знакомое существующее на части и комически дерзко связал эти части в невозможное, уродливое. Самгин постоял перед картиной минуты три и вдруг почувствовал, что она внушает желание повторить работу художника, — снова разбить его фигуры на части и снова соединить их, но уже так, как захотел бы он, Самгин. Протестуя против этого желания и недоумевая, он пошел прочь, но тотчас вернулся, чтоб узнать имя автора. «Иероним Босх» — прочитал он на тусклой, медной пластинке и увидел еще две маленьких, но столь же странных. Он сел в кресло и, рассматривая работу, которая как будто не определялась понятием живописи, долго пытался догадаться: что думал художник Босх, создавая из разрозненных кусков реального этот фантастический мир? И чем более он всматривался в соединение несоединимых форм птиц, зверей, геометрических фигур, тем более требовательно возникало желание разрушить все эти фигуры, найти смысл, скрытый в их угрюмой фантастике. Имя — Иероним Босх — ничего не напоминало из истории живописи. Странно, что эта раздражающая картина нашла себе место в лучшем музее столицы немцев.

Самгин спустился вниз к продавцу каталогов и фотографий. Желтолицый человек, в шелковой шапочке, не отрывая правый глаз от газеты, сказал, что у него нет монографии о Босхе, но возможно, что они имеются в книжных магазинах. В книжном магазине нашлась монография на французском языке. Дома, после того, как фрау Бальц накормила его жареным гусем, картофельным салатом и карпом, Самгин закурил, лег на диван и, поставив на грудь себе тяжелую книгу, стал рассматривать репродукции.

Крылатые обезьяны, птицы с головами зверей, черти в форме жуков, рыб и птиц. Около полуразрушенного шалаша испуганно скорчился святой Антоний, на него идут свинья, одетая женщиной, обезьяна в смешном колпаке; всюду ползают различные гады; под столом, неведомо зачем стоящим в пустыне, спряталась голая женщина; летают ведьмы; скелет какого-то животного играет на арфе; в воздухе летит или взвешен колокол; идет царь с головой кабана и рогами козла. В картине «Сотворение человека» Саваоф изображен безбородым юношей, в раю стоит мельница, — в каждой картине угрюмые, но все-таки смешные анахронизмы.

«Кошмар», — определил Самгин и с досадой подумал, что это мог бы сказать всякий.